В. Г. Короленко

ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

ДЕТГИЗ · 1957

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

В. Г. Короленко

ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ



Рисунки Гр. Филипповского

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1957

Редакция и подготовка текста Н. В. Короленко.

* * *

К ЧИТАТЕЛЯМ

«Дети подземелья» — повесть о детской дружбе, о жизни бедняков в царской России.

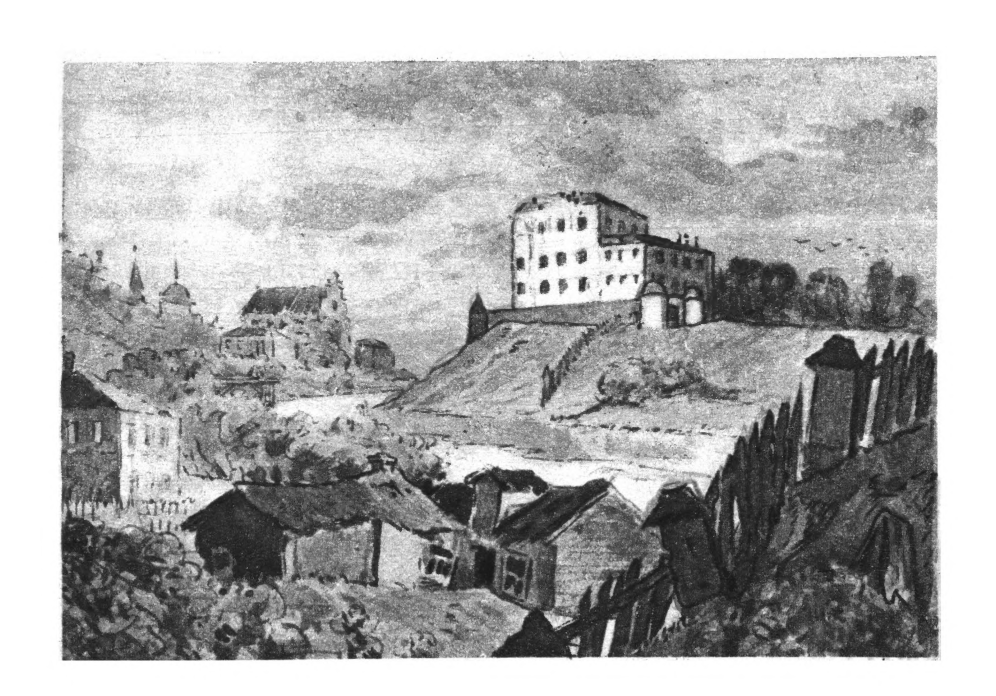
Нельзя без волнения читать эту незабываемую повесть. Она написана так правдиво, с таким горячим сочувствием и любовью к несчастным людям!

Автор повести, замечательный русский писатель Владимир Галактионович Короленко (1853—1921), вырос на Украине, в небогатой, трудовой семье. Его отец, судья, славился своей справедливостью и добрым отношением к простым, бедным людям. Хороший пример родителей, чтение передовой, лучшей русской литературы благотворно сказались на характере будущего писателя. Он вырос честным человеком и не мог равнодушно смотреть на страдания простого народа. Он горячо ненавидел всякое зло, насилие, несправедливость в общественной жизни. За свои выступления против этой общественной несправедливости В. Г. Короленко не раз сидел в тюрьмах и много лет провёл в ссылке.

И в своих произведениях талантливый писатель всегда боролся за правду. Нельзя так жить, говорили его повести, рассказы, очерки; нельзя безропотно терпеть жестокую, несправедливую власть богатых над бедными. Нужно бороться за лучшую долю для всех честных тружеников на земле, потому что «человек создан для счастья, как птица для полёта».

И герои многих его рассказов и повестей начинают эту борьбу с виновниками народного горя и нищеты.

В. Г. Короленко написал много прекрасных произведений. Одним из первых была повесть «В дурном обществе» (1885). Вскоре с небольшими сокращениями её напечатали для детей под названием «Дети подземелья».



1. РАЗВАЛИНЫ

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моём существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле, — никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов Юго-западного края.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сон-

ными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной «заставой»[1]. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум[2], — и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах тёмными воротами еврейских «заезжих домов»; казённые учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колёсами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот ещё минута — и вы уже за городом. Тихо шепчутся берёзы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие, густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый, полуразрушенный за́мок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нём ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», — передавали старожилы, и моё детское испуганное воображение рисовало под зем-

---

[1] Заста́ва — заграждение при въезде в город. Устраивалась вначале для защиты от врагов, затем — для сбора денег с проезжающих. Традицио́нная застава — обычная застава.

[2] Шлагба́ум — подъёмный брус, преграждающий движение по дороге.

лёй тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым за́мком. От этого, понятно, за́мок казался ещё страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободрённые светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса, — так страшно глядели чёрные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки, а за нами долго ещё стоял стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты-тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого за́мка и царил над всем городом.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У неё кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого, с высоким тоном, медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Было время, когда старый за́мок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Всё, что не находило себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, — всё это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребёнными под грудами старого мусора. «Живёт в за́мке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый за́мок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались — вообще как-то поддерживали своё существование.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютив-

шегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованиям. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось — уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя «добрых христиан» от безвестных личностей. Когда наконец порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в за́мке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были всё какие-то старики в потёртых сюртуках и «чамарках» [1], с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры и салопы. Все они составляли тесно сплочённый аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слёзы и клянча, а по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костёлов [2] и величественно принимали подачки во имя «пана Иисуса» и «панны Богоматери».

Привлечённые шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красносых старцев и безобразных старух гнал из за́мка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные тёмные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно

---

[1] Чама́рка — старинная польская одежда, род сюртука.
[2] Костёл — польская церковь.

кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий за́мка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках.

И несчастные тёмные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш и старый за́мок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшенною старою крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облечённые тою же таинственностью, которою был окутан весь за́мок. Они спят там ночью, они слышат всё, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер.

Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями, с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания.

Но с того вечера и за́мок и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить за́мок, так как найдёт в нём вполне порядочное общество. Он даже привёл меня за руку к самому за́мку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. За́мок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капо-

ров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко. Но главное — я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы зáмка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о тёмных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провёл очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землёю низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишённых тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеёй.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направ-

лении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебною тревогой. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из за́мка, — город их не признавал, да и их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и тёмной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу за́мка, но не ужились в нём и предпочли демократическое общество часовни.

Кроме этих выделявшихся из ряда людей, около часовни ютилась ещё тёмная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть своё добро руками, подобно тому как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишённые всяких средств к жизни со времени изгнания из за́мка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях.

Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех не ужившихся в старом за́мке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принуждён был скрываться. Но наружность пана Тыбурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого; крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдавшаяся вперёд нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей,

смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум. В то время как на его лице сменялся целый ряд гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчётно жутко смотреть на кривлянье этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения. Но тогда как объяснить его поразительную учёность, которая всем была очевидна? Не было кабака во всём городе, в котором бы пан Тыбурций, в поучение собравшихся в базарные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона [1], целых глав из Ксенофонта [2]. Хохлы, вообще наделённые от природы богатой фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевлённые, хотя и непонятные речи... И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами: «Patres conscripti» [3] — они тоже хмурились и говорили друг другу:

— Ото ж, вражий сын, як лается!

Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские тексты, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа Тыбурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими, загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки [4] слушатели опускали головы, свешивали длинные «чуприны» и начинали всхлипывать:

---

[1] Цицерóн — знаменитый древнеримский государственный деятель, славившийся красноречием. Речи его считались образцом ораторского искусства.

[2] Ксенофóнт — древнегреческий историк и полководец.

[3] Patres conscripti (лат.) — отцы сенаторы.

[4] Гори́лка (укр.) — водка.



— О-ох, матиньки, та и жалобно ж, хай ему бис! — И слёзы капали из глаз и стекали по длинным усам.

И когда оратор, внезапно соскакивая с бочки, разражался весёлым хохотом, омрачённые лица хохлов вдруг прояснялись и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

Ввиду такой поразительной учёности явилась новая легенда, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов иезуитов[1], собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Никто не знал также, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт стоял налицо, даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трёхлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привёл с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках.

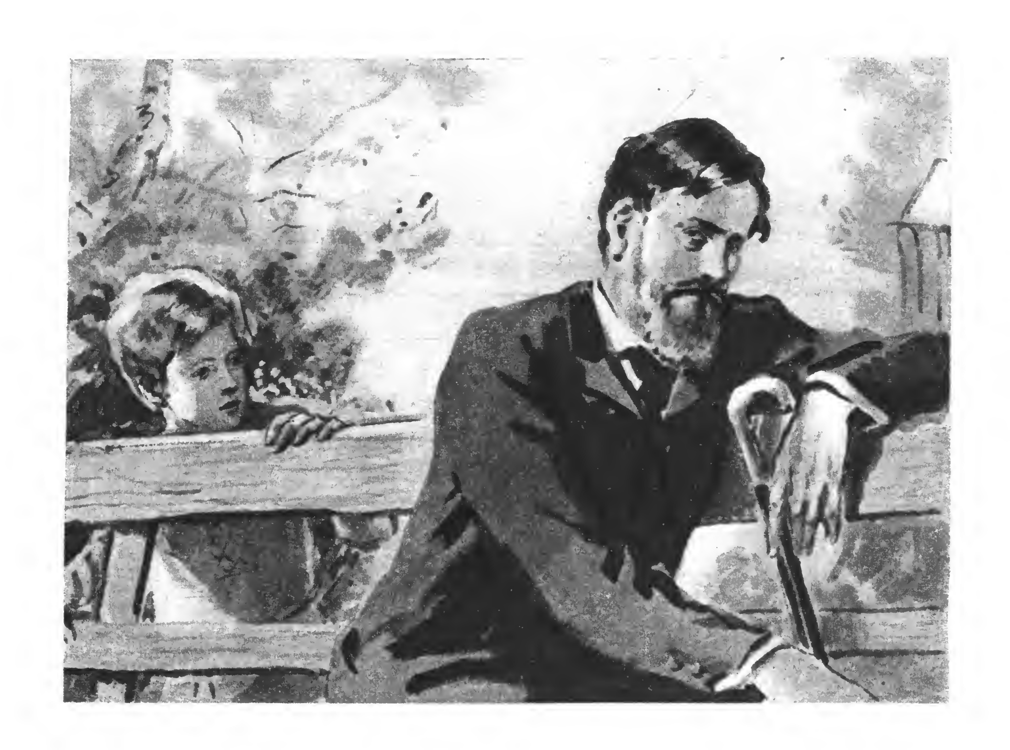
Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась — никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни, и так как в тех краях подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер

[1] **Иезуиты** — католические монахи.

исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял полубезумный старик нищий, которого прозвали «профессор», шагал решительно и быстро пан Тыбурций. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках, и другие тёмные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.





2. Я И МОЙ ОТЕЦ

— Плохо, молодой человек, плохо! — говорил мне нередко старый Януш из за́мка, встречая меня на улицах города среди слушателей пана Тыбурция.

И старик качал при этом своею седою бородой.

— Плохо, молодой человек, — вы в дурном обществе!.. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало ещё угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений своё окно,

полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестрёнка ещё не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме все ещё спали, я уж прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шёл к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в «лото́ки» [1] и бодро принималась за дневную работу.

Большие мельничные колёса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания.

Тогда я шёл далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шёпотом ленивой дремоты.

Я успевал совершить дальний обход, и всё же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовёт меня домой к утреннему чаю.

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчиш-

---

[1] Лото́к — лопасть мельничного колеса.

кой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я наконец и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы — ребёнок и суровый мужчина — о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

— Ты помнишь матушку?

Помнил ли я её? О да, я помнил её! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте её нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил её, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

О да, я помнил её!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверёк, забился в угол и смотрел на неё горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти.

И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с улыбкой счастья. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу её любящую, милую ласку.

Да, я помнил её!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съёживался ещё более и тихо выдёргивал из его руки свою ручонку.

И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то стена. Он слишком любил *её,* когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжёлое горе.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась всё шире и глубже. Он всё более убеждался, что я — дурной, испорченный мальчишка, с чёрствым, эгоистическим сердцем, и сознание, что он *должен,* но *не может* заняться мною, *должен* любить меня, но не находит этой любви в своём сердце, ещё увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним; я видел, как он шагал по аллеям, всё ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда моё сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределённому побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но, услышав мои шаги, он сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:

— Что нужно?

Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочёл его в моём смущённом лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества.

Сестре Соне было четыре года. Я любил её страстно, и она платила мне такою же любовью; но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напо-

минала мне всклоченную наседку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыплёнком. Мне становилось очень горько и досадно. Немудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а ещё через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Всё моё существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием жизни. Мне всё казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно. Я стал инстинктивно бегать и от няньки с её перьями, и от знакомого ленивого шёпота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным моим эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги; но я не обращал на это внимания. Я притерпелся к упрёкам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски-любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далёких больших городов, или в шелест колосьев, или в шёпот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни. Образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидал много такого, чего не видели дети значительно старше меня.

Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали, на горе, часовню. Сначала, как пугливый зверёк, я подходил к ней с разных сторон, всё не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но по мере того как я знакомился с местностью, передо мною вы-

ступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Всё было как-то смиренно, тихо, заброшенно, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть её всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трёх сорванцов, привлечённых обещанием булок и яблоков из нашего сада.





3. Я ПРИОБРЕТАЮ НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подыматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые, истлевшие кости. В одном месте выставлялся деревянный гроб, в другом — скалил зубы человеческий череп.

Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зелёную мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, перели-

вались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни костей, ни гробов. Зелёная, свежая трава ровным пологом любовно скрывала ужас и безобразие смерти.

Мы были одни; только воробьи возились кругом да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травою могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

— Нет никого, — сказал один из моих спутников.

— Солнце заходит, — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило ещё, но стояло над горою.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна — высоко над землёю; однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

— Не надо! — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

— Пошёл ко всем чертям, баба! — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на неё, потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в её крепости, поднялся к окну и сел на него.

— Ну, что же там? — спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахну́ло торжественною тишиной брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые, ободранные стены. Я увидел внут-

реннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые, истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав то же, что и я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

— Что там такое? — с любопытством указал он на тёмный предмет, видневшийся рядом с престолом.

— Поповская шапка.

— Нет, ведро.

— Зачем же тут ведро?

— Может быть, в нём когда-то были угли для кадила.

— Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нём спустишься.

— Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

— Ну что ж! Думаешь, не полезу?

— И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни, в её тёмных углах. Несколько воробьёв вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо с бородой, в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие.

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

— Ты подойдёшь? — спросил он тихо.

— Подойду, — ответил я так же, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей вознёй, вылетела из тёмного угла, мелькнула на фоне голубого неба в пролёте и шарахнулась вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

— Подымай! — крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

— Не бойся, не бойся! — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Тёмный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся, в конце концов, горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом.

Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки.

Трудно передать мои ощущения в эту минуту; чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрою дробью тревожный топот трёх пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шёпот:

— Почему же он не лезет себе назад?

— Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара чёрных глаз.

— Что ж он теперь будет делать? — послышался опять шёпот.

— А вот погоди, — ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Тёмные курчавые волосы лохматились над чёрными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но всё же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился ещё более, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось ещё грязное личико, обрамлённое белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски-любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на моё к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

— Ты здесь зачем?

— Так, — ответил я. — Тебе какое дело?

Мой противник повёл плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня.

Я не моргнул и глазом.

— Я вот тебе покажу! — погрозил он.

Я выпятился грудью вперёд:

— Ну, ударь... попробуй!..

Мгновение было критическое; от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

— Я, брат, и сам... тоже... — сказал я, но уже более миролюбиво.

Между тем девочка, упёршись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и наконец направилась нетвёрдыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивлённым и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

— Как твоё имя? — спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки.

— Вася. А ты кто такой?

— Я Валек... Я тебя знаю: ты живёшь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

— Да, это правда, яблоки у нас хорошие... Не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла своё лицо, прижавшись к Валеку.

— Боится, — сказал тот и сам передал яблоко девочке.

— Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? — спросил он затем.

— Что ж, приходи! Я буду рад, — ответил я радушно.

Ответ этот озадачил Валека; он призадумался.

— Я тебе не компания, — сказал он грустно.

— Отчего же? — спросил я, искренне огорчённый грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

— Твой отец — пан судья.

— Ну так что же? — изумился я чистосердечно. — Ведь ты будешь играть со мною, а не с отцом.

Валек покачал головой.

— Тыбурций не пустит, — сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился: — Послушай... Ты, кажется, славный хлопец, но всё-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

— Как же мне отсюда выйти?

— Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

— А она? — ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

— Маруся? Она тоже пойдёт с нами.

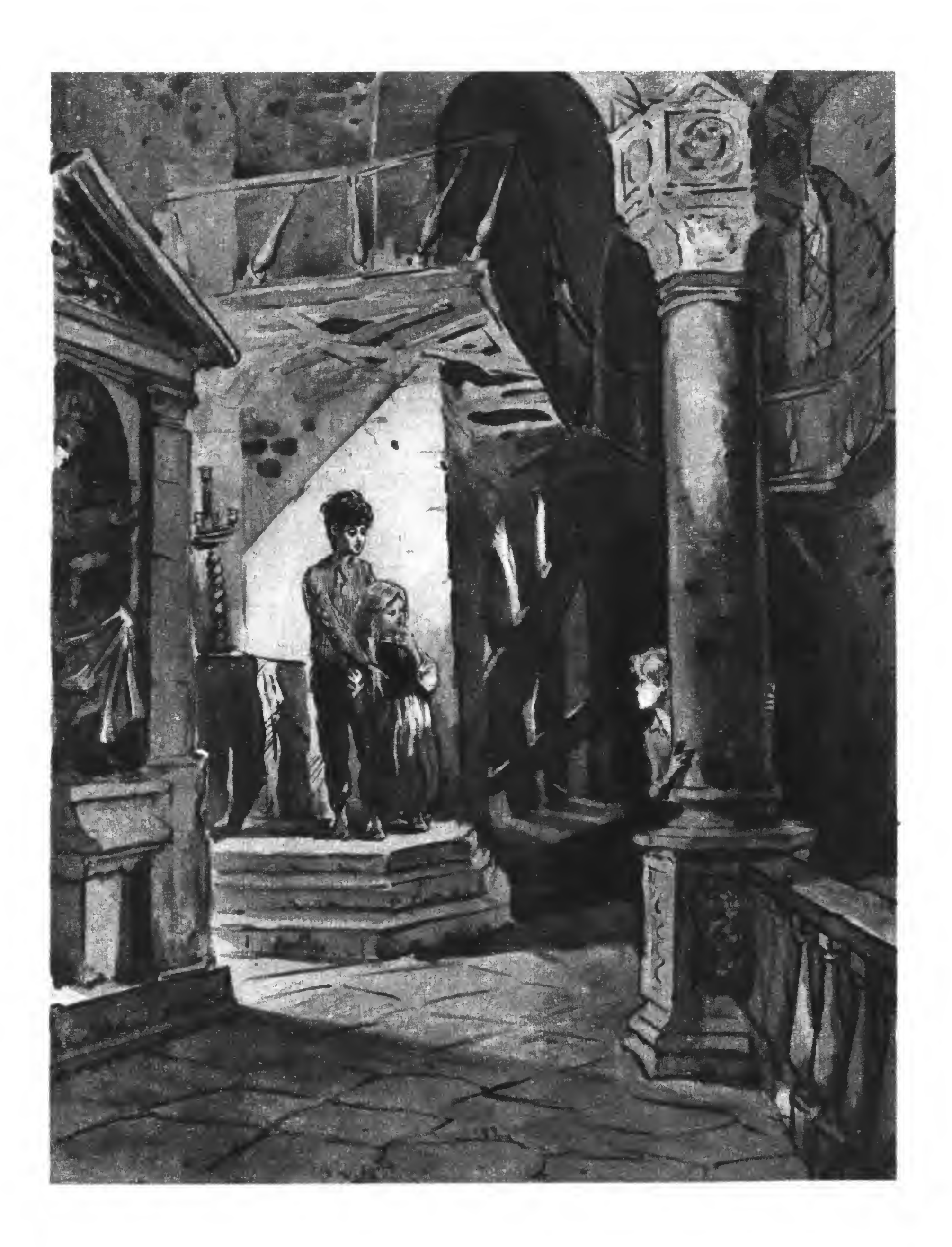
— Как, в окно?

Валек задумался.

— Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.

Солнце недавно ещё село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.



— Как хорошо! — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полною грудью влажную прохладу.

— Скучно здесь... — с грустью произнёс Валек.

— Вы все здесь живёте? — спросил я, когда мы втроём стали спускаться с горы.

— Здесь.

— Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без «дома».

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеёк по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул её также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

— Ты придёшь к нам опять?

— Приду, — ответил я, — непременно!..

— Что ж, — сказал в раздумье Валек, — приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

— Кто это «ваши»?

— Да наши... все: Тыбурций, «профессор»... хотя тот, пожалуй, не помешает.

— Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

— Эй, послушай-ка! — крикнул мне Валек, когда я отошёл несколько шагов. — А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

— Никому не скажу, — ответил я твёрдо.

— Ну вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел чёрта.

— Ладно, скажу.

— Ну, прощай!

— Прощай.

Густые сумерки залегли над Княжьим-Веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над за́мком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звёзды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

— Вася, друг, — заговорил взволнованным шёпотом мой бежавший товарищ. — Как же это ты?.. Голубчик!..

— А вот, как видишь... А вы все меня бросили!..

Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

— Что же там было?

— Что́! — ответил я тоном, не допускавшим сомнения. — Разумеется, черти... А вы — трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительные черти, весело выскакивавшие из чёрного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.





4. ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С этих пор я весь был поглощён моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительною целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество». И если Тыбурций разглагольствовал перед своими слушателями, а тёмные личности из его компании шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплёскивала ручонками, и глаза её загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в её пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила ещё плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки её были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил её белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слёзы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал её с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в тёмные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех её звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье её было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у неё были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. «У этого малого, — говорили обо мне старшие, — руки и ноги налиты ртутью», чему

я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвёл надо мной эту операцию. В первые же дни я внёс своё оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часовни повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валек серьёзно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил её бегать со мной взапуски, он сказал:

— Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил её и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала.

Я совсем растерялся.

— Вот видишь,—сказал Валек: — она не любит играть.

Он усадил её на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лёг рядом с Валеком около девочки.

— Отчего она такая? — спросил я наконец, указывая глазами на Марусю.

— Невесёлая? — переспросил Валек и затем сказал тоном совершенно убеждённого человека: — А это, видишь ли, от серого камня.

— Да-а, — повторила девочка, точно слабое эхо, — это от серого камня.

— От какого серого камня? — переспросил я, не понимая.

— Серый камень высосал из неё жизнь, — пояснил опять Валек, по-прежнему смотря на небо. — Так говорит Тыбурций... Тыбурций хорошо знает.

— Да-а, — опять повторила тихим эхом девочка. — Тыбурций всё знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валек повторял за Тыбурцием, однако убеждение Валека, что Тыбурций всё знает, произвело и на меня своё действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил её Валек, и всё так же перебирала цветы; движения её тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевой на бледном лице; длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную, грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция — хотя я и не понимал их значения — заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на её месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?

Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого зáмка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землёю, но все они отзывались старою сказкой. А здесь что-то неведомо-страшное было налицо. Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жестокое, как камень, склонялось над маленькою головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», — думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив её где-нибудь на траве, собирали для неё цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьёв. Иногда же, растянувшись около неё на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей старой часовни, рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днём всё больше закрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и вну-

шал мне почтение независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чём я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурции, точно о товарище, я спросил:

— Тыбурций тебе отец?

— Должно быть, отец, — ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

— Он тебя любит?

— Да, любит, — сказал он уже гораздо увереннее. — Он постоянно обо мне заботится, и, знаешь, иногда он целует меня и плачет...

— И меня любит, и тоже плачет, — прибавила Маруся с выражением детской гордости.

— А меня отец не любит, — сказал я грустно. — Он никогда не целовал меня... Он нехороший.

— Неправда, неправда, — возразил Валек: — ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе... Он засудил даже одного графа...

— Да, это правда... Граф очень сердился, я слышал.

— Ну, вот видишь! А ведь графа засудить не шутка.

— Почему?

— Почему? — переспросил Валек, несколько озадаченный. — Потому что граф — не простой человек... Граф делает что хочет, и ездит в карете, и потом... у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

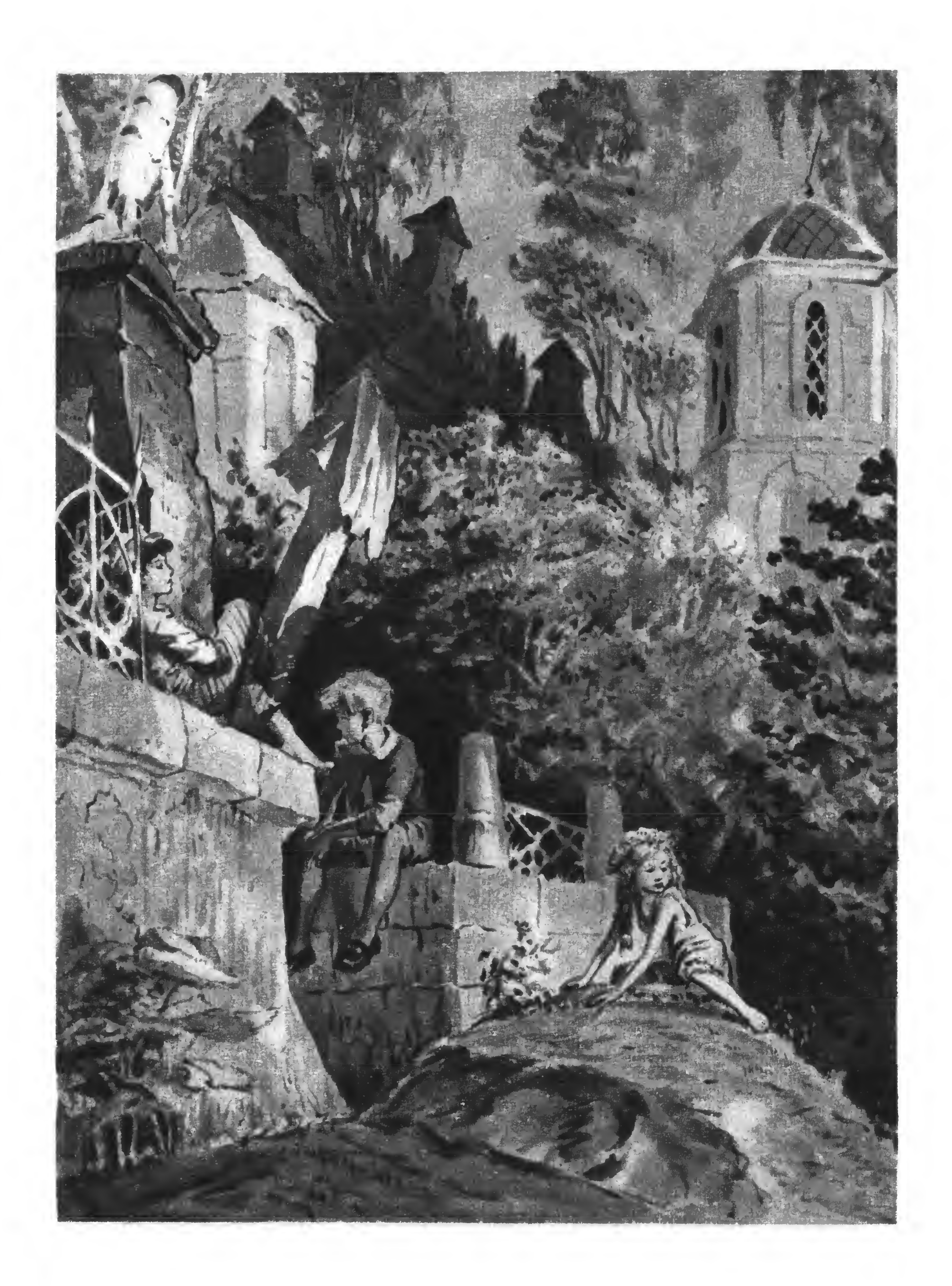
— Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

— А судья что?

— А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

— Ну, вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылём, он велел принести ей стул. Вот он какой!

Всё это заставило меня глубоко задуматься. Валек



указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека задели в моём сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да ещё от имени Тыбурция, который «всё знает», но вместе с тем дрогнула в моём сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.





5. СРЕДИ „СЕРЫХ КАМНЕЙ“

Прошло ещё несколько дней. Члены «дурного общества» перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шёл с опущенною головой по пыльной улице, Валек вдруг положил мне на плечо руку.

— Отчего ты перестал к нам ходить? — спросил он.

— Я боялся... Ваших не видно в городе.

— А-а... Я и не догадался сказать тебе: наших нет, приходи... А я было думал совсем другое.

— А что?

— Я думал, тебе наскучило.

— Нет, нет... Я, брат, сейчас побегу, — заторопился я, — даже и яблоки со мной.

При упоминании о яблоках Валек быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом.

— Ничего, ничего, — отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. — Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда — дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошёл тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек меня догонит; однако я успел взойти на гору и подошёл к часовне, а его всё не было. Я остановился в недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости, — только воробьи чирикали на свободе да густые кусты черёмухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чём-то тихо шептались густо разросшеюся тёмной листвой.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валека. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стёртые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаясь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, взглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стёклами, и сквозь эти стёкла зияла тёмная пустота подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валек. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

— Ага! — крикнул он, заметив меня. — Ты вот где... Если бы Тыбурций тебя здесь увидел, то-то бы рассердил-

ся! Ну, да теперь уж делать нечего... Я знаю, ты хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живём. Пойдём к нам!

— Где же это, далеко? — спросил я.

— А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я последовал туда за ним и очутился на небольшой, плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черёмухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валек спустился туда, приглашая меня с собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под землёй. Взяв мою руку, Валек повёл меня по какому-то узкому, сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа, поражённый невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на тёмном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое, подальше, очевидно, было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц; они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли всё подземелье тусклыми отблесками; стены тоже были сложены из камня; большие, широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещённых пространствах, сидели две фигуры. Старый «профессор», склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не лёгкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за каменное изваяние.

Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая

их, по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на её белокурую головку, заливая её всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывётся и исчезнет. Когда там, вверху, над землёй, пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, а потом опять выступали жёсткими, холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотною фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о «сером камне», высасывавшем из Маруси её веселье, и чувство суеверного страха закралось в моё сердце; мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный.

— Валек! — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в её глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валек, разломив булку, часть подал ей, а другую снёс «профессору». Несчастный учёный равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ёжился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

— Уйдём... уйдём отсюда, — дёрнул я Валека. — Уведи её...

— Пойдём, Маруся, наверх, — позвал Валек сестру.

И мы втроём поднялись из подземелья. Валек был грустнее и молчаливее обыкновенного.

— Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? — спросил я у него.

— Купить? — усмехнулся Валек. — Откуда же у меня деньги?

— Так как же? Ты выпросил?

— Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?.. Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лёжа врастяжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

— Ты, значит, украл?..

— Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

— Воровать нехорошо, — проговорил я затем в грустном раздумье.

— Наши все ушли... Маруся плакала, потому что она была голодна.

— Да, голодна! — с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал ещё, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валек попрежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом. А при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце.

— Почему же, — спросил я с усилием, — почему ты не сказал об этом мне?

— Я и хотел сказать, а потом раздумал: ведь у тебя своих денег нет.

— Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

— Как, потихоньку?

— Д-да.

— Значит, и ты бы тоже украл.

— Я... у своего отца.

— Это ещё хуже! — с уверенностью сказал Валек. — Я никогда не ворую у своего отца.

— Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

— Ну, может быть, и дали бы один раз, — где же запастись на всех нищих?

— А вы разве... нищие? — спросил я упавшим голосом.

— Нищие! — угрюмо отрезал Валек.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.
— Ты уж уходишь? — спросил Валек.
— Да, ухожу.
Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась... Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лёг в постель. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.





6. НА СЦЕНУ ЯВЛЯЕТСЯ ПАН ТЫБУРЦИЙ

— Здравствуй! А уж я думал — ты не придёшь более, — так встретил меня Валек, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

— Нет, я... я всегда буду ходить к вам, — ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валек заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

— Ну что? Где же ваши? — спросил я. — Всё ещё не вернулись?

— Нет ещё. Чёрт их знает, где они пропадают.

И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьёв, для которой я принёс с собой ниток. Нитку мы дали в руки Марусе, и, когда неосторожный воробей, привлечённый зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дёргала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали.

Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась тёмная туча, и под весёлые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валек и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошёл туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекатывался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня; гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода.

— Давайте играть в жмурки, — предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлёпала по каменному полу непроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать её, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее ещё оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ногу и дико вращал зрачками.

— Это что ещё, а? — строго спрашивал он, глядя на Валека. — Вы тут, я вижу, весело проводите время... Завели приятную компанию.

— Пустите меня! — сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я всё-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только ещё сильнее сжала мою ногу.

— Отвечай! — грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, запихав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

Я заметил только, что он с большим участием следил за моею несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, в пространстве.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

— Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать?

— Пусти! — проговорил я упрямо. — Сейчас отпусти! — И при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

— Ого-го! Пан судья изволят сердиться... Ну, да ты меня ещё не знаешь. Я — Тыбурций. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросёнка.

Отчаянный вид Валека как бы подтверждал мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся.

— Не бойся, Вася, не бойся! — ободряла она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. — Он никогда не жарит мальчиков на огне... Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил между колен.

— И как это ты сюда попал? — продолжал он допрашивать. — Давно ли?.. Говори ты! — обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

— Давно, — ответил тот.

— А как давно?

— Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

— Ого, шесть дней! — заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. — Шесть дней — много времени. И ты до сих пор никому ещё не разболтал, куда ходишь?

— Никому.

— Правда?

— Никому, — повторил я.

— Похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперёд. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий «уличник», хоть и «судья»... А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я всё-таки чувствовал себя глубоко оскорблённым и потому ответил довольно сердито:

— Я вовсе не судья. Я — Вася.

— Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьёй — не теперь, так после... Это уж, брат, так ведётся исстари. Вот видишь ли: я — Тыбурций, а он — Валек. Я нищий, и он нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит, — ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вот его!

— Не буду судить Валека, — возразил я угрюмо. — Неправда!

— Он не будет, — вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого урода, а он ласково гладил жилистой рукой её белокурые волосы.

— Ну, этого ты вперёд не говори, — сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. — Не говори, друг!.. Всякому своё, каждый идёт своей дорожкой, и кто знает... может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, потому что лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня, — понимаешь?..

Я не понимал ничего, но всё же впился глазами в лицо

странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои.

— Не понимаешь, конечно, потому что ты ещё малец... Поэтому скажу тебе кратко: если когда-нибудь придётся тебе судить вот его, то вспомни, что ещё когда вы оба были дураками и играли вместе, — что уже тогда ты шёл по дороге в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем и с пустым брюхом... Впрочем, — заговорил он, резко изменив тон, — запомни хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копчёного окорока. Это ты, надеюсь, понял?

— Я не скажу никому... я... Можно мне опять прийти?

— Приходи, разрешаю... под условием... Впрочем, я уже сказал тебе насчёт окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

— Возьми вон там, — указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога, — да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.

Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не шут, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам.

Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, во всей фигуре виднелось тяжёлое утомление.

Мы с Валеком живо принялись за работу. Валек зажёг лучину, и мы отправились с ним в тёмный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски; из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонёк. Затем Валек уже один умелыми руками принялся за стряпню. Через полчаса в камине закипа-

ло уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валек поставил на трёхногий столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

— Готово? — сказал он. — Ну и отлично. Садись, малый, с нами — ты заработал свой обед... Господин учитель, — крикнул он затем, обращаясь к «профессору», — брось иголку, садись к столу!

— Сейчас, — сказал тихим голосом «профессор», удивив меня этим сознательным ответом.

Старик воткнул иголку в лохмотья и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье стулья.

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинуясь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к «профессору» со своей беседой. Бедный учёный проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал всё с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал своё согласие кивками головы и тихим мычанием.

— Вот как немного нужно человеку, — говорил Тыбурций. — Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остаётся только поблагодарить бога и клеванского ксендза... [1]

— Ага, ага! — поддакивал «профессор».

— Вот ты поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чём тут клеванский ксёндз, — я ведь тебя знаю. А между тем не будь клеванского ксендза, у нас не было бы жаркого и ещё кое-чего...

— Это вам дал клеванский ксёндз? — спросил я, вспомнив вдруг круглое, добродушное лицо клеванского ксендза, бывавшего у отца.

---

[1] Ксёндз — польский священник.

— У этого малого любознательный ум, — продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к «профессору». — Действительно, его священство дал нам всё это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что даёт правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия...

Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб ещё раз не вставить вопроса:

— Вы это взяли... сами?

— Малый не лишён проницательности, — продолжал Тыбурций по-прежнему. — Жаль только, что он не видел ксендза: у него брюхо, как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все, здесь находящиеся, страдаем, скорее, излишнею худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним... Так ли я говорю?

— Ага, ага!—задумчиво промычал опять «профессор».

— Ну вот! На этот раз вы выразили своё мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых учёных... Впрочем, — повернулся он вдруг ко мне, — ты всё-таки ещё глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принёс тебе жаркое?

— Хорошо! — ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. — Маня была голодна.

Под вечер этого дня я с отуманенною головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что «воровать нехорошо». Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, ещё усилилось. Нищие... воры... у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси. В результате — сожаление к Валеку и

Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Убеждение, что «нехорошо воровать», осталось. Но когда воображение рисовало мне оживлённое личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался её радостью и радостью Валека.

В тёмной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он, по обыкновению, угрюмо ходил взад и вперёд с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо.

— Откуда это?

— Я... гулял...

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился, и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

«А, всё равно... *Её* уж нет!..»

Я солгал чуть ли не в первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чём-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моём знакомстве с «дурным обществом», но изменить Валеку и Марусе — я был не в состоянии. Если бы я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.





7. ОСЕНЬЮ

Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только всё худела; лицо её всё бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены «дурного общества» бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком. Тёмные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только «профессор», как всегда, был погружён в какие-то глубокие соображения.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал «с семейством» описанное выше подземелье.

Осень всё больше вступала в свои права. Небо всё чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях.

Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду; впрочем, я только старался уйти незамеченным; когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упрёков, которые лились из уст нянек и служанок.

Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся всё больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень — тёмное, молчаливое чудовище подземелья—продолжал без перерыва свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь бóльшую часть времени проводила в постели, и мы с Валеком истощали все усилия, чтобы развлечь её и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы её слабого смеха.

Теперь, когда я окончательно сжился с «дурным обществом», грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен — я чувствовал, что каждый раз моё появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валек обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землёй, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках её загорался румянец; казалось, что ветер, обдававший её своими свежими взмахами, возвращал

ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось недолго...

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи. Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из зáмка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

— Уходите! Вы просто старый сплетник!

Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперёд и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая, точно удары хлыста.

— Не верю ни одному слову... Что вам надо от этих людей? Где доказательства?.. Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать... Молчать! Это уж моё дело... Не желаю и слушать.

Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему; отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке.

Я сильно недолюбливал старого филина из зáмка, и теперь сердце моё дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне. Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу.

— У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена!

— Отец его прогнал, — заметил я в виде утешения.

— Твой отец, малый, самый лучший из всех судей на свете. У него есть сердце; он знает много... Быть может, он уже знает всё, что может сказать ему Януш, но он молчит; он не считает нужным травить старого, беззубого зверя в его последней берлоге... Но, малый, как бы тебе объяснить

это? Твой отец служит господину, которого имя — закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках; когда же этот господин сойдёт оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не взяться ли нам за Тыбурция Драба, или как там его зовут?» — с этого момента судья тотчас запирает своё сердце на ключ, и тогда у судьи такие твёрдые лапы, что скорее мир повернётся в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук... Понимаешь ты, малый?.. Вся беда моя в том, что у меня с законом вышло когда-то, давно уже, некоторое столкновение... то есть, понимаешь, неожиданная ссора... ах, малый, очень это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать её, прижимаясь своею безобразной головой к её маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении, под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций, и фигура отца в моём представлении ещё выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство...

«Вот он какой, — думалось мне. — Но всё же он меня не любит».





8. КУКЛА

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения с целью занять её она смотрела равнодушно своими большими, потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали её смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил

дать мне её на время. Я так убедительно просил её об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне её и обещала в течение двух — трёх дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой... Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлёпая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нёс её за пазухой, направляясь с нею на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом, дня через два, старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять её, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернётся, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа. Отец ничего ещё не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан — на этот раз с ещё бóльшим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец ещё спал.

На горе дела были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало ещё хуже; лицо её горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.



Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости её недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.

— Как же теперь будет? — спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

— Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен; ослушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что́ будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто ещё не наказывал; отец не только не

трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжёлое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошёл и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своём кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же опустил их в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжёлый, неподвижный, подавляющий взгляд.

— Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчётливо и резко, что я вздрогнул.

— Да, — ответил я тихо.

— А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл её?

— Нет, — сказал я, подымая голову.

— Как нет? — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. — Ты украл её и снёс!.. Кому ты снёс её?.. Говори!

Он быстро подошёл ко мне и положил мне на плечо тяжёлую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно, глаза горели гневом. Я весь съёжился.

— Ну, что же ты?.. Говори! — И рука, державшая моё плечо, сжала его сильнее.

— Н-не скажу! — ответил я тихо.

— Нет, скажешь! — отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.

— Не скажу, — прошептал я ещё тише.

— Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и всё ниже опускал голову; слёзы одна

за другой капали из моих глаз на пол, но я всё повторял едва слышно:

— Нет, не скажу... никогда, никогда не скажу вам... Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди, навстречу его угрозам, подымалось едва сознанное оскорблённое чувство покинутого ребёнка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевёл дух. Я съёжился ещё более, горькие слёзы жгли мои щёки. Я ждал.

Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство. Что он со мной сделает? Но мне теперь кажется, что я боялся не этого... Даже в эту страшную минуту я любил отца и вместе с тем чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьёт мою любовь вдребезги. Теперь я совсем перестал бояться. Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа наконец разразилась... Если так... пусть... тем лучше — да, тем лучше.

Отец опять тяжело вздохнул. Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, я до сих пор не знаю. Но в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

— Эге-ге!.. Мой бедный маленький друг...

«Тыбурций пришёл!» — промелькнуло у меня в голове, но, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моём плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми, рысьими глазами.

— Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении...

Отец встретил его мрачным и удивлённым взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьёзен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

— Пан судья! — заговорил он мягко. — Вы человек справедливый... отпустите ребёнка. Малый был в «дурном обществе», но, видит бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!..

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.

Рука отца, державшая моё плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

— Что это значит? — спросил он наконец.

— Отпустите мальчика, — повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. — Вы ничего не добьётесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам всё, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, всё время смотревший на Тыбурция удивлёнными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался, подавленный ощущениями, переполнившими моё сердце. В эту минуту я ни в чём не отдавал себе отчёта. Был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнообразных чувства: гнев и любовь — так сильно, что это сердце замутилось. Этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да ещё были два голоса, смутным, хотя и оживлённым говором звучавшие за дверью...

Я всё ещё стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил, в присутствии отца, к себе на колени.

— Приходи к нам, — сказал он, — отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушёл из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашёл что-то родное, чего тщетно искал в нём прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжёлый туман, нависший над душой отца. И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

— Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время...

— Д-да, — ответил он задумчиво, — я знаю... Я виноват перед тобою, мальчик, и ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал её целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в моё сердце.

Теперь я его уже не боялся.

— Ты отпустишь меня теперь на гору? — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

— Д-да... Ступай, ступай, мальчик, попрощайся, — ласково проговорил он всё ещё с тем же оттенком недоумения в голосе. — Да, впрочем, постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного.

Он ушёл в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

— Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его — понимаешь?.. покорнейше прошу — взять эти деньги... от тебя... Ты понял?.. Да ещё скажи, — добавил

оудто колеблясь, — скажи, что если он знает тут... Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоичу лучше уйти из нашего города... Теперь ступай, мальчик, ступай скорее.

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

— Покорнейше просит... отец... — И я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича.

В подземелье, в тёмном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет ещё полного значения для детского слуха, и горькие слёзы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьёзная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и ещё резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся, с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этою гримаской на наши слёзы.

«Профессор» стоял у изголовья и безучастно качал головой. Кто-то стучал в углу топором, готовя гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Марусю убирали осенними цветами. Валек спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вскоре после описанных событий члены «дурного об щества» рассеялись в разные стороны.

Тыбурций и Валек совершенно неожиданно исчезли, никто не мог сказать, куда они направились теперь, ка никто не знал, откуда они пришли в наш город.

Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначал у неё провалилась крыша, продавив потолок подземель: Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и он стала ещё мрачнее; ещё громче завывают в ней филины, огни на могилах тёмными осенними ночами вспыхиваю синим зловещим светом.

Только одна могила, огороженная частоколом, кажду весну зеленела свежим дёрном, пестрела цветами.

Мы с Соней, а иногда даже с отцом посещали эту мо гилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечуще берёзы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первым молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честно юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родно город, здесь же, в последний день, мы оба, полные жизн и надежды, произносили над маленькою могилкой сво обеты.

